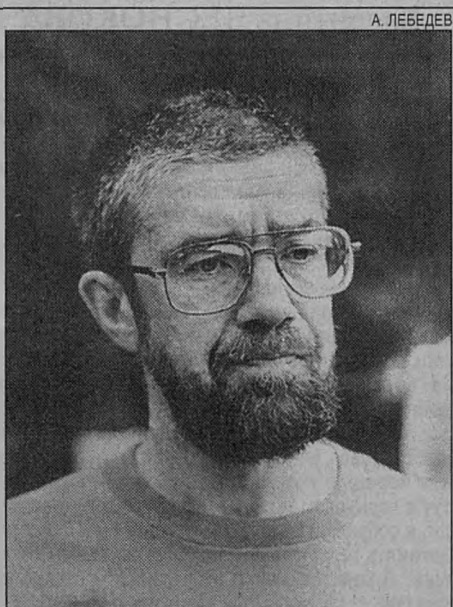


Чему, чему свидетели мы были...

С поэтом Сергеем ГАНДЛЕВСКИМ беседует Ольга КУЧКИНА



Поэту Сергею Гандлевскому уже за сорок, но широко печататься он начал сравнительно недавно. Его обычно относят к так называемым «концептуалистам», стихотворный почерк его отличается преднамеренной «анти-поэтичностью», жесткостью ритма, обилием бытовых подробностей. Закономерно оказалось обращение Гандлевского к прозе: автобиографическая повесть «Трепанация черепа» («ОГ» №№ 5, 8) вызвала оживленные споры.

— Пожалуй, я начну с гоголевского: нет уж святей товарищества. Ваши замечательные друзья — Пригов, Кибиров, Рубинштейн — представляют, как мне видится, не просто поэтический круг, но что-то жизненно важное для вас.

— Иначе и быть не может, потому что стихи — не просто профессия, это очень личное занятие, которое забирает человека целиком. Читаешь чьи-то стихи, они тебе нравятся, сразу хочется познакомиться. А бывает наоборот: стихи начинаешь понимать после того, как понял человека и подружился с ним. Мне удавалось дружить с людьми, чьи стихи вызывали интерес, уважение и любовь.

— Это довольно редкая штука, поэты ведь очень ревнивы друг к другу. Бывают сложности между вами?

— Бывают, все не ангелы. Но вообще мне кажется, эта ревность надуманная. По-настоящему, чем больше способных людей выйдет на поверхность в искусстве, тем легче дышится остальным. Завистлив, ревнив, заедает чей-то век, конечно, человек, не уверенный в своих силах.

— А вы уверены в своих силах?

— Во всяком случае, у меня хватает рассудка понять, что, если я кому-то начну мешать, это никоим образом не разрешит моих внутренних противоречий, способностей у меня не прибавится. Может, прибавится успеха, но он меня не порадует.

— А когда была эта серьезная история в вашей жизни, о которой вы рассказали в «Трепанации черепа», что тогда ваши друзья?

— Ну, разумеется, они были заботливы, приносили апельсины, старались сдать кровь. Я не думаю, что долгие супружеские или дружеские отношения нуждаются в изумительных сюжетах. Поэтический быт на самом деле коварен и таит в себе неприятные сюрпризы. То, что мы, в общем, почти бесконфликтны в течение десяти лет, минуем ухабы и колдобины, свидетельствует о том, что все держат себя в руках и не дают себе занимать весь объем, как вообще свойственно поэтическому темпераменту. Все-таки поэзия замешана на ячестве. Значит, какой-то окорот в поведении каждый себе дает.

— Я недавно разговаривала с Леонидом Зориным, и он заметил, что в основе трагедии лежит надежда, а в основе иронии — безнадежность. В вашей поэзии и поэзии ваших друзей много ироничности, тем не менее я не ощущаю в вас холода, наоборот, ощущение тепла и нежности.

— Я бы не сказал, что я добрый человек. И здесь я утешаю себя словами Набокова: я не верю в писателей с добрыми глазами. У писателя прежде всего — наблюдательность. Наблюдательный человек, он же не может быть человеком добрым: слишком много он видит.

— Я могу вас побить вашими же стихами про любовь к этому «гиблому времени»...

— Если мне, недобитку, внушает такую любовь это гиблое время и Богом забытое место. Но в этих строчках как раз противоречие и видно. Я же не идеализирую это время и это место. А люблю я его вовсе не за то, что оно любви заслуживает, а потому что я другого не знаю, не видел. Посмотрите, как редко мы встречаем людей, которые говорят, что у них было ужасное детство. А когда начинаешь спрашивать, оказывается, это было какое-то барачное детство, с потасовками за стеной, тряпчочкой или шепчочкой вместо куклы, то есть надо, чтобы жизнь очень постаралась, чтоб у человека были скверные воспоминания. У меня было коммунальное детство, то есть объективно оно было убожеством, но я бы его не променял на другое, оно мне нравится.

— А теперешнюю жизнь вы бы променяли на другую?

— Наверное, нет. Не потому, что она чем-то уж так хороша, а потому, что она просто моя. Это имеет отношение и к жизни, и к смене стран. Фет сказал где-то: жить ведь значит примиряться.

— Что в этой жизни приоритетно для вас?

— Ну, в первую очередь, семья. Потом, раз уж жизнь так сложилась, что я занимаюсь литературным творчеством, то это важно. Очень досадно, что редко сочиняю. Через силу делать это я не могу, воодушевление, чувство азарта испытываю редко. Одно время, отчаявшись, я пробовал писать просто волевым усилием. Очень нечистое остается послевкусие. Отказался.

— А проза?

— В прозе было много сюрпризов. Во-первых, оказалось, что проза требует куда большего воодушевления и вдохновения, чем стихи. Говорю только о себе. В общем, стихи я пишу с холодной головой, иногда даже пунктами плана. Проза не так. Я не пускал розовую пену, когда сочинял пять месяцев эту свою вещь, но сердце билось учащенно. Я тяготился тем, что надо 5–6 часов отдать сну и старался встать пораньше и еще за счет кофе пролить бодрствование. Я всегда мечтал писать прозу и не обманулся в своих ожиданиях. Это очень интересное занятие.

— Вы вообще человек преодоления? Или вы плывете по воле судьбы?

— Я еще хуже. Я плыву по воле судьбы, но я себя и казню за это. Что же касается биографической части в «Трепанации черепа», то сама пафосность тона, которым это написано, объясняется тем, что мы доходим до состояния, до самочувствия своих родителей, когда начинаем их понимать, а их уже нет. И вот здесь чувство вины, оно чрезвычайно обостряется. Потому что нельзя взять своих слов обратно и навести мосты — их уже наводить не с кем. И потом, мое прощание с родителями совпало с этим ужасным, вопиющим, грандиозным историческим переломом. Я не устаю повторять слова Пушкина: чему, чему свидетели мы были. То, что казалось незбылемым, стало испаряться, оказалось эфемерно. Я лет пятнадцать назад был в гостях, и там же были глубоко чтимые мною Липкин с Лиснянской. Я спросил Липкина, которого считаю мудрецом: Семен Израилевич, скажите, пожалуйста, а долго еще будет существовать советская власть? Эх, Сережа, сказал мудрый Липкин, об этом еще будут спрашивать вас ваши внуки. Я не ставлю под сомнение его мудрость, но смотрите, как решила жизнь. И я увидел, что не только мои родители ушли, но просто рухнул целый пласт исторической жизни. И появилась боязнь, что как ни слабы и ни малы мои свидетельские показания, но все же я очевиден... Мы помимо своей воли стали каждый историческим лицом. Когда-нибудь наши частные письма, справки будут значить для историков будущего больше, чем беллетристика, которую мы сочиняем.

— У меня впечатление, что вы такой коробейник, складываете в коробочку, низкое и высокое, все вместе, какая-то философская мысль и рядом запах какой-нибудь дряни... собрание времени и пространства в деталь...

— То, что вы говорите о соседстве низкого и высокого, тоже не я изобрел...

— Не вы, не вы.

— У меня брали интервью, я распустил хвост, а выйдя на улицу, увидел, что у меня растегнуты штаны... Я не срежиссировал это. Такая деталь, которую я, может быть, куда-то вставляю.

— Интересно, что ваше поколение считает антагонистическим по отношению к предыдущему, а я в вас не нахожу антагонизма, я имею в виду агрессивного антагонизма.

— Тех, кто говорит о поколениях, оставим при их занятиях. Оставим обобщения любителям обобщать. Мне представляется куда интереснее говорить о поэтах, чем о направлениях. Дорастаешь до возраста и до самочувствия, когда понимаешь, что совершенно неубедительным будет на кого-то переваливать вину за что-то, потому что тебе всегда кто-то скажет: ну сделай, что ты пристал ко мне, что я не сделал хорошо, если ты такой умный, сделай. Начинаешь понимать, что самоутвердиться за чужой счет нет внутреннего права, что самоутвердиться можно только ценой собственных усилий. Это то, что я собираюсь говорить сыну, когда он дорастет до конфликтного возраста, до 14–15-ти.

— Вы собираетесь его воспитывать?

— Ну что значит собираюсь... Нет, я воспитываю его ежедневно. Не специально смотрю на часы, что вот, пора. Мне поневоле хорошо или плохо воспитываю своих детей. Хотя я не исключаю, что и он попадет в то же колесо поколений и что-то поймет, когда меня уже не будет в живых.

— Мне кажется, если вы обращаетесь к родителям как бы поверх их реальной жизни, то это не значит в никуда. И если так бывает со всеми, то значит это такой жизненный закон...

— Я однажды был в поездке с «Новым миром» в Набережных Челнах и случайно оказался в одном номере с Селюниным, человек он был совершенно замечательный. Во время какого-то застолья я сказал, что дети, там, должны родителям, а он мне сказал, что дети родителям ничего не должны, дети должны своим детям. Так идет жизнь.